

Леонид Бежин

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

рассказ

Стемнело по-осеннему рано. При этом вечерняя тьма не собиралась постепенно, не обступала медленно со всех сторон, не сгущалась до аспидной черноты, поблескивая, словно со дна чернильницы, а мигом накрыла. И звонкая сухость, прогретость, цветочная сладость воздуха (по всем дворам белели астры и георгины) сразу показалась обманчивой. Потянуло и запахло тяжелой сыростью, заболоченными низинами, замшелым буреломом и всем тем, чем обычно пахнет в городке, где много оврагов.

Ресторан уже закрывался, и я едва уговорил официанта принести мне что-нибудь на ужин. Будь я моложе, и он вряд ли согласился бы меня уважить. Нет никого несговорчивее и упрямее провинциальных официантов: как ни упрасивай, пальцем не пошевелят в неурочное время, а тем более за пять минут до закрытия. Хоть ты с голоду помирай — не обслужат (и только если помрешь, то для поминок столы накроют, а то и рюмку опрокинут за упокой).

Но нас сближал возраст: у обоих серебрился по темени коротко стриженный бобрик, а на левом виске белел клочок седины, свидетельствовавший, что оба мы разменяли у Небесного Кассира шестой десяток.

Кроме того, у меня в руках была корзина с грибами и палка с вделанным знакомым умельцем хитрым приспособлением вроде раскладного стульчика: собирая грибы, я старался не столько побольше пройти по осеннему лесу, сколько почаще присесть. Присесть, уподобившись персонажу одного писателя (о писателях я упомянул не случайно), о коем сказано: «Сел, чтобы посидеть немного». Меня это всегда восхищало: сел, чтобы посидеть. Вот и я садился не от усталости, не для того, чтобы отдохнуть, потереть ладонями спину, бока и колени, а «чтобы посидеть немного», как учит нас великая русская литература.

Видно, официанту это было знакомо, иначе бы он не задержал на палке понимающего взгляда и не произнес с одобрением:

— Полезная вещь, однако. А сколько удовольствия для нашего брата, старичка-грибника.

Я согласно закивал, хотя в старики записываться не спешил, и он мигом принес мне с кухни кое-какую трапезу. А когда я посмотрел на него с *известным* намеком, то он достал из-за спины запотевший графинчик. Хотя я обычно предпочитаю всяким сомнительным графинчикам надежно запечатанную бутылку, тут я не воспротивился, налил, опрокинул, крякнул и, когда почувствовал, что прошибло, предложил ему. Он с достоинством отказался:

— У нас хозяйка зело строгая. Ни-ни. Тем более что я когда-то себе весьма и весьма позволял...

«Зело... весьма и весьма...» — что-то в этом послышалось книжное, близкое мне, родственное. Похоже, что и он угадал во мне родственную душу. Чувствовалось, что выпить-то ему хотелось, и он предложил:

— А давайте с вами посидим над обрывом. Там есть скамеечка, только бы хозяйка не увидела.

— Да что вы так ее боитесь?

— Крутехонька больно. Истинная Васса.

— Васса? Я под таким названием видел у вас ресторан неподалеку от вокзала, но там мест не нашлось. Что ж, все рестораны, похоже, ей принадлежат?

— Все, как есть ее.

— А этот, небось, «Обрыв»? Я на вывеску-то, простите, не обратил внимание, теперь же догадываюсь...

— Он самый. «Обрыв». Угадали.

— Ну, просто Гончаров Иван Александрович получается.

— Читали?

— Что за вопрос! Конечно, читал. И не раз.

Его подкупило не то, что я читал Гончарова, а то, что еще и перечитывал. Он сдал выручку, переделся и провел меня тропинкой к обрыву. Там была скамейка, немного мокрая от росы, и мы сели. Отсюда хорошо был виден усадебный дом с колоннами, занятый под ресторан, и горящее полуовальное окно на самом верху.

— Там когда-то был мой кабинет, — пояснил официант, поймав мой взгляд, направленный на окно.

— Вы что же, рестораном заведовали?

— Библиотекой. Здесь когда-то была библиотека, а я ее директор.

— А теперь там кто сидит, да еще допоздна?

— Хозяйка. Она теперь всему хозяйка.

— Как же так получилось, что вы из директоров в официанты сверзились?

Ему понравилось мое словечко. Он грустно улыбнулся, погладил серебряный бобрлик на голове и несколько раз ради забавы уколол о него ладонь.

— Вот так и сверзился. Давайте-ка я вам расскажу, если вы не против.

— Сделайте милость, — сказал я и тоже потрогал ладонью свой бобрлик.

1

Расскажу-то я вам расскажу, только давайте условимся, что рассказ — обо мне грешном. Вы, должно быть, удивитесь моему уточнению, сочтете его излишним, а то и попросту вздорным, но я, прежде чем начать, полагаю для себя обязательным оговорить, иначе же и начинать нет смысла. Итак, я и рассказчик, и главный персонаж одновременно, что, собственно, и не редкость для литературы. Напротив, такой прием в ней часто

встречается, облюбован и ухожен — не мне вам приводить примеры. У этого испытанного приема лишь один недостаток. Иной раз по недоразумению или прочим причинам в ход повествования может вмешаться скромность, побуждающая рассказчика задать неизбежный риторический вопрос: «Ну, что я буду о себе распространяться!» Вопрос резонный и для некоторых чувствительных натур весьма щекотливый, но не из числа неразрешимых. На него возможен и такой ответ: да, рассказываю о себе, но с этим можно смириться и даже списать за счет неизбежных издержек то, что мне как герою рассказа приходится выставить себя на всеобщее обозрение, стать центром внимания и даже поддаться соблазну покрасоваться перед публикой.

Иными словами, предоставить всем возможность лицеизреть, какой я в разных ролях, разных, так сказать амплуа. Я ведь на моем веку этих амплуа сменил немало — от преуспевающего директора нашей городской библиотеки, первой по посещаемости, до одичавшего безработного с бутылкой дешевого портвейна в отвисшем кармане пальто (а затем — услужливого официанта), от отца семейства до бездомного холостяка.

Моя бывшая библиотека — позвольте сказать два слова... Да, впрочем, и говорить ничего не надо — достаточно взглянуть на старинный усадебный дом, нависший над высоким обрывом, заросшим бурьяном, с колоннами, обсаженным липами *прешпектом* и чугунной оградой. Там внутри — наборный паркет, расписные потолки, анфилада комнат, изразцовые печи — хоть сейчас топи дровами. В моем кабинете окно — полуовал. Зимой намерзали метровые сосульки, похожие на трубы органа. Летом при грозе распахивалась адская тьма, вспыхивающие багровыми зигзагами молнии отражались в стеклах готического книжного шкафа и казались заревом костра, на котором сжигают еретиков, вероотступников и всяких проходимцев.

Впрочем, еретики, отступники и проходимцы сейчас в фаворе....

Это я к тому, какие иным выпадают роли, какие бывают амплуа. Вот и мне — раз в жизни выпало. И я этого не скрываю, не замалываю, не замазываю, не прибедряюсь в угоду завистникам. Пусть смотрят, оценивают, хвалят, осуждают — можно, можно! И вам как моему случайному собеседнику и confidentу тоже можно. С меня от этого не убудет.

Но вот чего решительно нельзя, так это вторгаться в сферу моих деликатных отношений с Машурой Зверевой, библиотекарем нашего абонементы, самой исполнительной, аккуратной из всех сотрудниц, умницей, сероглазой красавицей. Машура для меня одинаково неотразима, заплетает ли она косу или распускает ее, чтобы золотистые волосы рассыпались по плечам, надевает ли строгие очки или, наоборот, остается без очков и с прелестной, едва угадывающейся близорукостью щурится на окружающие предметы. Если бы не близорукость, Машура могла бы ходить по канату, натянутому под куполом цирка, или прыгать с вышки в воду: натура у нее, смею утверждать, героическая.

Она и в своем абонементе была способна на подвиги. К примеру, помнила, в каких томах у Толстого «Война и мир», «Отец Сергей», «Крейцера соната», «Детство»,

«Отрочество», «Юность», «Семейное счастье» (я ее много раз проверял). Если кто-нибудь не знал, какую взять книгу, она словно бы невзначай выкладывала перед ним то, что оказывалось самой верной находкой. Сама носила домой книги старому безрукому профессору Евгению Львовичу, а также матерому уголовнику Федьке, отбывавшему срок в нашей тюрьме и имевшему необъяснимую склонность к чтению (ему доставляло особое удовольствие читать и тотчас забывать прочитанное).

И отношение к труду у нее было, как к святой обязанности, поскольку Машуре приходилось ухаживать за парализованной матерью, возить ее в кресле и воспитывать двоюродного брата, тоже своего рода циркача. Он любил лазать по заборам, прыгать с сараев и — в отличие от Федьки — ненавидел чтение.

Вот я ее тут зову Машурой... Вообще-то она Маша, но из любви к писателю Борису Зайцеву ей нравится если не носить, то хотя бы примерять иногда имя одной из его героинь, и я поддерживаю в ней это желание. Вернее, сначала угадываю, поскольку оно глубоко запрятано, а затем поддерживаю, поскольку сам с суеверной нежностью люблю... писателя Зайцева. Иногда я готов признаться, кого я *на самом деле* люблю, но подобная откровенность меня страшит, и пусть уж лучше будет Зайцев. Да, Борис Зайцев, и дело с концом. Пусть!

На этом отчасти основаны наши деликатные отношения с Машурой. Мы оба любим и не только Зайцева, но и его близкого друга Бунина, и не слишком близкого ему Шмелева, и совсем далекого Владимира Владимировича (не Маяковского). А я еще недавно для себя открыл и полюбил Марка Алданова, хотя тот вряд ли мог позволить себе назвать героиню Машурой — у него все больше Муси и Глафиры. Впрочем, если и Глафира, то уж по бабушке Генриховна — не меньше...

2

И Маша все это читает, прекрасно знает, и ее редчайшее достоинство в том, что с ней можно поговорить о литературе. О, эти разговоры, сладчайшие, блаженнейшие, упоительнейшие из всех, кои мне когда-либо приходилось вести! Не так уж часто сейчас и вообще-то удается поговорить: по нашим временам это роскошь, а поговорить о литературе — роскошь вдвойне, единственная, что нам осталась, поскольку вся прочая — у новых хозяев жизни.

Разговоры о литературе — это наше национальное. Они — не для французов и уж тем более англичан, хотя у тех и других были свои шекспировы и стэндалы. С французами можно о женщинах: тут они непревзойденные знатоки и охотники — до бесстыдства, до карамазовских сладострастных слюней, до «маточки моей». Может быть, я хлестко выразился и меня занесло, но как прикажете выражаться, если в сияющем мрамором чертоге парижского музея у них выставлено... срамное место. Да, со всем старанием, даже, я бы

сказал, изощренным упоением изображенное художником срамное место, и при этом картина сопровождается глубокомысленной сентенцией: вот, мол, сокровенный источник мира, откуда, с позволения сказать, все пошло.

Французы от этого без ума, заходятся мелкой дрожью. Иностранцы, правда, бывают смущены и обескуражены, не позволяют себе надолго задерживаться возле этого шедевра, тем более с дамой, хотя дамы у нас всякого навидались, особенно после того, что преподнес миру австрийский молодой гений Шиле, певец мужского срама...

Однако хватит об этом. Я привел эти примеры, чтобы замаскировать некую банальность своего утверждения: с французами — о женщинах. Следующее мое утверждение столь же банально: с англичанами — о политике, о лошадях, о кровавых разборках в королевской семье. Добавим сюда немцев: с ними, если повезет, можно о музыке, о Бетховене, Вагнере или, на худой конец, сухом и рассудочном Хиндемите. С американцами при всем желании вообще ни о чем не поговоришь (средний американец не в состоянии разделить 111 на 3). Словом, всюду банальность, и только русские, отстающие во всех прочих отношениях, ее лишены, поскольку у них что ни слово, то литература.

Не буду приводить примеры, поскольку труднее их не привести. Каждый пример так и метит в литературу и, словно бумеранг, брошенный наобум лазаря, возвращается к своей исходной точке. Причем, в жизни такого давно уже нет, но каждый тебе расскажет и про белый плащ с кровавым подбоем, и про шаркающую кавалерийскую походку. И про топор в петле, пришитой с внутренней стороны пальто, под левой подмышкой. И про роющийся с героическими усилиями котлован.

Каждый, и в то же время, конечно, не каждый: тут посверкивает, мерцает, зыбится своя тончайшая диалектика. Споры нет, для истинного разговора нужны избранники, посвященные. Иной вопрос, что они могут встретиться не на университетской кафедре, а, скажем, гораздо выше — в будке башенного крана. Там, под облаками, самое место, чтобы запоем, всласть читать. Или в той же тюрьме, как наш Федька, по ночам штудирующий на нарах с фонариком «Критику чистого разума». И вот что еще любопытно. Истинные-то попадают больше среди мужчин, чем среди женщин.

Женщины чаще лишь запоминают сказанное кем-то, сами же вести разговоры на должном уровне (о книгах!) не умеют. Не потому, что им не хватает красноречия, а потому, что они не понимают главного. А именно: настоящая литература должны быть длинной и скучной — вот тогда она по-настоящему интересна и даже увлекательна. Они же падки на то, что коротко и занимательно, а это не литература, а обыкновенная пошлость. И творят эту пошлость не писатели, а... (есть одно словечко) *пьецухи*. Эти соловьями заливаются, прославляя краткость и занимательность. Один из пьецухов так и ляпнул однажды сдуру: «Скучнейший “Самгин”». Скучнейший, разумеется, не скучный... Эх, вся беда в том, что общество у нас подурнело — в хорошем обществе пьецуху такого не спустили бы. Окунули

бы головой в унитаз или дали пощечину, тем более что он и двух страниц «Самгина» не осилил, не одолел...

Из всех знакомых мне женщин самые длинные и скучные книги читала, конечно же, именно Маша. Поэтому она для меня — тайна, чудо, вечно ускользающая загадка. Она ведь и Голсуорси целиком прочла, и Роже Мартен Дюгара, и упомянутого «Клима Самгина», и «Иосифа и его братьев», и «Сад Иосифа». Поэтому и все остальное в литературе ей понятно, сразу видно, где пьецух, а где настоящий мастер. К тому же она обладает удивительным вкусом, тактом и достоинством — из тех, о ком говорят: воспитана. Сама она, конечно же, не стала бы величать себя Машурой: это манерно и претенциозно. Но позволить мне якобы в шутку так ее назвать — совсем другое дело. Ничего зазорного в этом нет. И я этим, признаться, пользуюсь. Стоит мне сойти с небес в библиотеку (кабинет у меня на третьем этаже), и я произношу:

— А дайте-ка мне, Машура, голубую звезду.

Разумеется, я не прошу достать мне звезду с неба, а имею в виду повесть Зайцева с таким названием — «Голубая звезда» (кстати, имя героини Машура — именно оттуда). И мой библиотекарь, страшно польщенный, ее тотчас пронесит. Так же происходит и с вешними водами. Я как директор, ответственный за состояние помещений, никак не радею о том, чтобы сии поэтические воды здесь все залили, подтопили и устроили наводнение, но прошу выдать мне соответствующую повесть «Вешние воды». Только «Первой любви» я никогда не спрашиваю во избежание двусмысленности, а то эдак получится, что я, разменявший шестой десяток на серебристый бобрлик и клочок седых волос, домогаюсь у юной сероглазой и скромной девушки первой любви.

3

Лет семь назад, в такую же осень, сухую и звонкую днем и сырую к ночи, пронеслось по нашему городку гнилое овражное веяние. Так и запахло тинистыми заводьями и тепловатой болотной водицей. И стало этой водицей подмывать обрыв, над которым высилась, маячила белыми колоннами, сквозила арочными окнами моя библиотека...

Мне бы первому распознать это веяние, поскольку меня оно прежде всего касалось, но я по натуре что твой глухарь на току — захожусь своими мелкими, текущими заботами, кружусь на месте, бестолково хлопаю крыльями и ничего не слышу. Одна мыслишка меня свербит: где бы подешевле тес раздобыть, где кровельное железо, где гвозди для починки флигеля. Мне и невдомек, что беда-то не над флигелем нависла, а над всей библиотекой, иными словами над моей жизнью, поскольку вне библиотеки никакой жизни у меня нет.

Тут уж добрые люди (они же злые языки) мне шепнули: ты, глухарь, вместо того чтобы заходиться, прислушался бы и присмотрелся, что вокруг тебя творится. «А что именно?» — спрашиваю я хмуро и недоверчиво. «А то, — отвечают мне, — что охотничья облава к тебе подбирается, подкрадывается. Ружья нацеливают, курки взводят».

Иными словами, поговаривают о том, чтобы все библиотеки закрыть, поскольку они стали рассадниками всякого невежества и предрассудков, тормозом для развития мировой науки и отечественного капитализма. «Каким же это тормозом? Книги-то?» — «А таким, что твою библиотеку можно в одну такую штуку уместить». И показывают мне черненькую бубочку с голубым ободком чуть пониже колпачка.

Я в это поначалу не поверил, посчитал все бредом. Подумал: как шумнуло, так и затихнет. Но оказалось, что все это не бред.

Вызвали меня в управу и стали вкрадчиво растолковывать, что библиотека свой век отжила и подлежит закрытию. Глава управы Максим Кокошников, по прозвищу Маркиз де Ко, моложавый, но с бородкой, свернутой трубочкой и заостренной к концу, особенно упирал на это словцо — подлежит, уж очень оно ему нравилось, поскольку внушало, что все свершается не по его воле, а по некоему высшему соизволению. Раз уж подлежит, так подлежит — ничего не попишешь.

— Никто в твою библиотеку не ходит. Это раньше она была первой по посещаемости, а теперь в залах пусто — никого нет. Сидят две-три старушки и на спицах вяжут. И домой книг никто не берет — я сам проверял. — Кокошников с сожалением улыбнулся, словно бы сетуя, что результат его проверки не в мою пользу.

— Как это никто не берет! В тюрьму книги носим, — попытался я возразить, чувствуя слабость собственных доводов.

— Ну, отнесете вы одну-две книги Федьке Канту... Что ж, ради него мы должны целую библиотеку содержать? Не слишком ли жирно будет?

Тут я снова зашелся, но не от мелких забот, а от гнева и ярости — аж меня затрясло.

— Не ради Федьки, а ради самой книги. Книга — вечная ценность. У нас хранятся прижизненные издания, раритеты, уникальные подшивки газет.

— Слыхали про ваши подшивки. — Маркиз де Ко вздохнул с сожалением, показывающим, что услышанное ничего не меняет. — Вам бы под них какую-нибудь кладовку, подвальчик, вы же по-барски расположились... Занимаете такое здание, едва ли не лучшее в городе. Наборный паркет, расписные потолки, изразцовые печи; у директора кабинет в пол-этажа. Что ж, всему этому пропадать!

— Ах, вот оно что! Недвижимость! А там, где недвижимость, там и интерес.

— Вы на что намекаете? — Маркиз счел нужным обозначить свое достоинство. — Никакого интереса тут нет. Здание выставим на аукцион. Деньги поступят в казну. Взяли моду на интерес всех ловить.

— А книги? Что с ними будет?

— Спишем. Раздадим по школам. Утилизируем, в конце концов.

— Это как? — Я словно бы просил объяснить мне секрет фокуса, который только что проделали перед моими глазами

— А вот так... — Маркиз не счел нужным раскрывать свои секреты и объяснять, как происходит утилизация.

— И списки составлять будете? На Блока, Ахматову, Цветаеву, Мережковского? — спросил я, хотя лучше было бы упомянуть не Мережковского, а Маяковского, солиднее, надежнее, но вот сплеховал.

— Списки? — Глава управы насторожился как должностное лицо, знающее цену спискам. — А что это вы про списки заговорили? Если понадобится, составим. Не беспокойтесь.

— А то, что в расстрельные списков они когда-то по счастливой случайности не попали, а вот списков на утилизацию избежать, выходит, не удалось.

— Это вы бросьте, бросьте! Такие аналогии неуместны — за них вас и привлечь не мешало бы. — Он смущенно кашлянул и подобрал тонкие — в ниточку — губы, как бы вынужденный признать, что привлечь — это уж слишком, крайняя мера. И безучастно, словно выгодную сделку, предложил компромиссный вариант: — Заявление по собственному желанию напишете? Я вам советую. Для вас это лучший выход.

— За-яв-ле-ние?! — Я ахнул и некоторое время не мог вздохнуть, посчитав, что ослышался или чего-то до конца не уразумел.

— Ну да, заявление. — Он поскущел, словно не понимая, о чем тут еще спрашивать, настолько все было ясно. — Как полагается, в надлежащей форме...

— За-яв-ле-ние?! — Я сделал еще одну попытку вздохнуть, такую же тщетную: горло перехватило, и доступа воздуха не было.

Он с брезгливой вежливостью налил мне воды, явно теряя терпение, нужное для того, чтобы объясняться со мной.

— Сколько еще повторять! Резину с вами тянуть! Вот вам бумага. — Он отслоил от пачки листок бумаги. — Пишите. Но только не заявление *от такого-то*, а заявление *такого-то*. Так принято.

— Сейчас, сейчас... — Я изобразил притворную угодливость и суетливую готовность к послушанию. — Это мы мигом. Вот вам заявление! Не такого-то, а от такого-то. То есть от меня. — И тут уж не знаю, как, но я позволил себе жест, какого никогда не позволял раньше и даже не думал, что на это способен, тем более в официальном месте. Раньше не позволял, а тут не выдержал, осмелел и позволил — жест, означающий одновременно и фигу, и самый откровенный, бесстыдный, вызывающий (что твой Шиле!) мужской срам.

4

То ли мой непристойный жест оказал неожиданное воздействие на Маркиза (начальство любит непристойность), то ли были иные неведомые мне причины, но он сразу переменялся — растрогался, умилился, порозовел, подобрел.

И несколько слащаво — сахарно — пообещал мне:

— Хорошо, проказник вы наш. Шалун вы этакий. Независимо от результатов аукциона мы сохраним просветительскую направленность бывшей усадьбы. Считайте, что это вам подарок. Шуба если и не с барского плеча, то с плеча начальника управы. Хотя, признаться, на шубу я себе еще не заработал.

Я не знал, благодарить ли мне Маркиза или, наоборот, показать, что просветительская направленность — слишком малая плата за уничтожение библиотеки. В конце концов я все же сдержанно поблагодарил, углядев, что глава управы ждет если не благодарности, то хотя бы некоторого признания. Признания, что он — вместо того чтобы держать себя в рамках — пренебрег официозом, сделал благое, бескорыстное, доброе дело.

— Что ж, спасибо и на этом... Значит, можно надеяться, что бордель у нас в библиотеке не устроят.

— Бывшей библиотеке, — сдержанно и сухо поправил меня он, обозначая голосом, что благотворительность приемлема, пока она не нарушает некую меру. — Верьте, все будет хорошо...

— И мы поженимся, — пошутил я с неким фиглярством, вызванным скорее нервозностью, чем развязностью.

Маркиз не понял и не оценил моей шутки.

— На ком это вы намерены жениться? Я, простите, женат. Да и вы, кажется, тоже.

— На демократии, — ответил я просветленно, и тем самым, кажется, еще более ухудшил о себе впечатление.

— Не особо старайтесь... — Он уже не называл меня проказником. — У нашей демократии другие женихи. Подстойнее.

Усадьбу выставили на аукцион, о чем в местной газете было напечатано объявление, обведенное рамкой. Аукцион проходил в бывшем читальном зале, закрытом для посетителей (старушек с вязанием, как выяснилось впоследствии, подставных). Народу набилась тьма. В переднем ряду — нога на ногу (отзеркаленные ваксой мыски ботинок) — сидели тузы, большинство из криминального мира, еще не отмытые, с грязнотцой. Их окружала своя масть — шестерки, семерки, десятки. Масть, приставив ладонь ко рту, выкрикивала суммы, с самого начала кругленькие, с нулями. Перед последним нулем были бурные схватки. Победили самые испытанные, завзятые, матерые, отъявленные просветители — будущий ресторан.

В тот же день я ворвался в кабинет Маркиза и снова зашелся.

— Где ваше обещание? Где? — надсадно кричал я.

Он смотрел на меня любовно, почти с обожанием.

— А вы этот жестик... еще раз, пожалуйста... очень вас прошу. Продемонстрируйте. Доставьте удовольствие.

— Какой еще жестик?

— Тот самый, как давеча...

— Что за вздор?

— Не вздор, а вы слушайте. Ресторану, победившему на аукционе, поставлено условие. И это условие подлежит... — Он взглянул на меня с уверенностью, что я уже угадал, какое слово последует дальше, — исполнению. Название ресторана должно быть литературным. — В его лице и особенно свернутой трубочкой и заостренной книзу бородке обозначилась такая сладострастно-изысканная утонченность, словно он вместо *литературным* произнес — *амурным*. — Те согласились, и мы сошлись на прекрасном названии — «Обрыв». И еще одно условие. Бывшим сотрудникам библиотеки будет предложено стать официантами. Сначала подучиться, конечно. Все-таки обслуживать посетителей ресторана — не книги студентам и пенсионерам выдавать. А подучившись, пожалуйста: зарплата плюс чаевые. И зарплата, прошу учесть, не такая, как вы платили.

— Неужели выше? — притворно умилился я.

— В разы, — произнес он голосом, чуждым всякого притворства.

— Наши сотрудники... никогда... вы слышите, никогда... — прошептал я горячим, срывающимся шепотом.

— Посмотрим, — сказал глава управы так, словно ему никуда смотреть не требовалось, поскольку он все уже ясно видел.

5

И тем не менее я с моим горячим шепотом и верой в сотрудников оказался прав или почти прав (или неправ вовсе, если смотреть не по тематическому, а, так сказать, по алфавитному каталогу). Наши сотрудники... наши бедные, нищие, работавшие за гроши сотрудники с достоинством честной бедности отвергли все посулы и наотрез отказались стать официантами. Отказались все, кроме заведующей залом текущей периодики Зинаиды Юрьевны Басовой, пышногрудой, с мужскими бровями и огромной брошью, жеманно и уклончиво обещавшей подумать, и... Маши Зверевой.

Да, Машура, моя Голубая Звезда, согласилась. Согласилась сквозь слезы, сославшись на то, что ей надо выхаживать больную мать, которой становилось все хуже (она держалась только на дорогих лекарствах), и воспитывать непутевого брата, готовить его если уж не в библиотечный техникум, то в цирковое училище.

— Не осуждайте меня. Я предательница. Вернее, осуждайте, но я ничего не могу поделать, — сказала она, доставая из сумочки смятую пачку сигарет, зажигая дрожащими руками спичку и закуривая, хотя раньше я никогда не видел ее курящей.

— Маша... — Я старался, чтобы к сдержанному удивлению в моем голосе не примешивалась укоризна.

Она вздрогнула и ужаснулась, вспомнив, что никогда при мне не курила, и стала разгонять рукой дым.

— Нет, курите, пожалуйста...

— Я у брата научилась. Однажды застучала его с кем-то выброшенным окурком дешевой сигары, отняла, но не выбросила, а сама докурила. С тех пор и пошло. К тому же мне теперь положено, я же официантка... — сказала Маша, оставляя за мной право решать, гордится она собой или себя презирает. — Мне ведь и чаевые будут давать. Полагается десять процентов. Да я и сама... с тарелок соберу, по кастрюлькам разложу и домой принесу. Вот я какая...

Я, конечно, стал убеждать, что Машура не должна себя винить, что она выполняет свой долг, что это для нее самопожертвование, но мои слова вызывали в ней только досаду и раздражение, как у преступницы, оправданной судом, несмотря на то, что она полностью признала свою вину и ждала справедливого наказания.

Тем не менее я сказал (немного по-книжному):

— Маша, можете во всем на меня положиться. Я навсегда останусь вашим другом.

Но возможность иметь во мне друга ее не обрадовала и не воодушевила, словно ей доставляло странное, изощренное наслаждение видеть во всех, во мне и в самой себе своих заклятых врагов.

— Ах, лучше бы вы от меня отвернулись. Лучше бы вы меня осудили, прогнали и прокляли.

— За что же мне вас проклинать! Неизвестно, как теперь жизнь сложится. Вы мне по доброте сердечной еще стаканчик нальете... там, в ресторане-то, а? — пошутил я.

Маша неожиданно повеселела и рассмеялась сначала слишком громко, а затем (ее что-то смутило) слишком тихо, почти неслышно.

— Налью, налью. И сама с вами с горя напьюсь.

— Вот! Значит, жива наша дружба. И о литературе еще поговорим — о «Голубой звезде».

— Это я с радостью. Это я вам обещаю, — сказала Маша, все-таки испытывая сожаление оттого, что я ее не прогнал и не проклял.

6

Вскоре для меня стало ясно, что своими словами Маша, может быть неосознанно, хотела отвести от себя проклятие, нависшее над «Обрывом». Дела у ресторана не заладились, не пошли. Там бывали только приезжие дядьки — те, кому негде больше пообедать, кто слюнил в кармане рубли и берег каждую копейку. Никто из жителей нашего городка туда носа не казал, считая ресторан проклятым оттого, что он возник на месте уничтоженной библиотеки и варварски утилизированных книг. Не ходили даже те, кто в библиотеке отродясь не бывал, но и они уверяли, что ее зловещий призрак словно бы висит над рестораном.

И это еще не все. Некоторым жителям, излишне нервным, не чуждым сомнамбулизму и склонным к галлюцинациям, мерещился над «Обрывом» другой призрак

— кулак с пальцами, сложенными дулей (большой между средним и указательным), и как бы пророчески вещавшими: вот вам ресторан, сукины дети! Еще намыкаетесь с ним, наплачетесь. За поругание культуры (или, по-церковному, хулу на Святого Духа) отмстится вам всемеро!

И вправду, ближе к зиме, декабрьским морозам, метелям и вьюгам, кружившим над нашими оврагами, в ресторане случился пожар. Выгорело пол-этажа: наборный паркет, расписной потолок, привезенные в кадках пальмы, еще не распакованный белый рояль — ничего не удалось спасти.

Затем подтопило подвалы: мутная, смрадная вода стояла по колено. А главное, все его залы, интимные кабинеты, пристроенные веранды пустовали.

Официанты слонялись без дела, курили, по очереди набрасывая старый, прокисший тулуп (после пожара курить разрешалось только во дворе). Накурившись до одури, играли в карты с охраной, но не на деньги: обещанных денег никто не получал.

Словом, надежды Маши Зверевой на хоть какой-то заработок, чаевые и ужин в кастрюльках рухнули. А тут еще на нее как на единственную официантку *из бывших* (хранитель текущей периодики так и не надумала податься в официанты) стали списывать все беды. Почему-то решили, что это она придумала неудачное, отпугивавшее посетителей название — «Обрыв».

И вообще считали, что Маша навлекает на них все беды, приносит несчастья. Ее травили и преследовали, улюлюкали ей вслед, толкали, щипали, набрасывали на голову тот самый старый тулуп, оставшийся от сторожихи. Однажды даже попытались избить и избил бы, если б не получили неожиданный отпор: Маша знала, куда надо бить — если не кулаком, то коленом.

Словом, ее всячески старались выжить.

Маша и сама ушла бы, если б было куда. Попробовала — наудачу — из нашего городка перебраться в город (потом забрать туда мать и брата), устроиться в цирк — хотя бы уборщицей, подметать арену и клетки чистить. Но ее не взяли: свои уборщицы справлялись, и на нее смотрели, как звери из клетки. Стать тренером по прыжкам в воду Маша теперь и не мечтала — какой она тренер! Глупости! Вздор! Вот и вернулась в наш городок, больше ни на что не надеясь...

7

Лишившись моего директорства, я вытряс все из ящиков письменного стола, забрал недопитые бутылки из потайного шкафчика, отодвинул подальше письменный прибор, опрокинул стаканчик с ластиками, точилками и огромным бисмарковским карандашом, который покатился по зеленому сукну и упал на пол (поднимать я не стал) и последний раз посмотрел в полуoval окна. Во дворе усадьбы таяло, снег чернел, тропинки стали

горчичного цвета, и над спуском в овраг поднималась туманным облаком (морокком) изморось.

Я спустился вниз по шаткой, скрипучей лестнице, прозванной Варварой и отзывавшейся особым звуком на каждый мой шаг. «Ну вот, прощевайте, Варвара Прохоровна», — сказал я и поклонился лестнице. «Прощай, Василий Максимович», — ответила — скрипнула — лестница (будем считать, что ответила).

С этого весеннего дня я отсчитываю мое торжественное вступление в новое амплуа. Я стал опускаться все ниже и ниже, пока не очутился на самом дне. Надеюсь, вы угадываете, какой *горький* смысл я вкладываю в это понятие — что твой МХАТ. И в одной из главных ролей на сцене — я. Впрочем, признаюсь, что ролишка так себе, дрянь, дешевка. И я больше рисуюсь, чем играю — с непривычки-то. И никакого тебе МХАТа, а просто бутылка портвейна в отвисшем кармане, шаркающая походка, бесцельно блуждающий взгляд.

«Это кто же такой? Лицо будто знакомое». — «А это бывший директор нашей библиотеки». — «Поди, выгнали его». — «Турнули». Словом, испытал я вдосталь, что это такое — оказаться на дне-то. Если угодно, на дне *оврага*, если под оврагом подразумевать жизнь. Насладился этим всласть, ведь унизиться — то же самое, насладиться. Насладиться своим падением, которое и дает право возвыситься...

Впрочем, не буду вдаваться в умствование, а расскажу все как есть.

В первые дни, проведенные дома, я обещал себе и жене, что обзвоню всех знакомых: может быть, у кого-то найдется работа или кто-то подскажет, где ее искать. Я даже составил список и выписал нужные телефонные номера, чтобы позвонить по ним в *удобное* время. И вот оно наступило, самое удобное, просто удобнее не придумаешь. Но, вместо того чтобы звонить, по какой-то причудливой блажи я вдруг взял с полки книгу. Взял наугад: уголок торчал, я потянул, раскрыл, начал читать, увлекся и просидел до конца дня.

Ведь во времена моего директорства читать особо не приходилось, а тут прорва свободного времени — как не воспользоваться. Затем ради приличия все же позвонил, хотя время было неудобное. Стал униженно спрашивать, не найдется ли какой *работенки* (в этом слове — крайняя степень моего унижения). Работенки не нашлось, а по одному телефонному номеру мне ответили, что сейчас вообще никто не работает — все только охраняют. «Что же они охраняют, господи?» — по наивности спросил я. Оказалось, что охраняют банки, склады, гаражи, магазины, особняки — все что угодно, лишь бы охранять, поскольку охрана сейчас и есть единственная работа, за которую платят.

Но в охрану податься мне претило. Я, видите ли, возгнушался, побрезгал, не захотел, да и кто бы меня взял с моим слабосилием и дурными наклонностями к книгам. Вот тогда-то, лежа на диване, я и стал попивать. Оправдывал я себя тем, что я же не читаю: чтение было самым тяжким грехом, во всяком случае с точки зрения жены. Но я же не читал, а пьющим она меня еще не видела и поэтому не знала, как к этому отнестись.

Сначала отнеслась удивленно, как к причуде, затем насторожилась, затем запаниковала. Стала бить по щекам, чтобы пробудить меня к трезвости (она в кино где-то видела, что в таких случаях бьют по щекам). Но я не пробуждался. Тогда, посоветовавшись с подругами, жена меня выгнала, хотя подруги не советовали выгонять. Я ее не виню: она наизнанку выворачивалась, чтобы прокормить и вынянчить наших двойняшек, а тут еще одна обуза — пьющий муж. Я ютился у приятелей, но они меня недолго терпели; спал в каком-то подвале и на чердаке. Нанимался топить котельные и дачи сторожить.

Иногда приходил к Маше, и она тайком мне наливала. И сама со мной пила. Пьяненькие мы веселели, бодрились, куражились, болтали суший вздор, и однажды я попытался завести с ней *прежний* наш разговор.

— Маша, дайте мне «Семейное счастье», — сказал я особым голосом, напоминая ей о тех временах, когда она сразу угадывала, о чем я прошу, и приносила мне нужную книгу.

Я надеялся, что эти воспоминания и в ней еще живы, что она улыбнется, вздохнет, может быть, даже прослезится и нам обоим станет так хорошо, словно прошлое к нам вернулось. Но, к моему удивлению, Маша не улыбнулась, а, напротив, встревожилась, погрузилась, отвела взгляд, и на ее глазах блеснули слезы, но не те, которых я ждал, а совсем иные, словно ее охватил испуг, отчаяние и в то же время робкая надежда.

— Я согласна, — тихо произнесла она.

Я не понял, с чем она согласна, но спросить не решался, видя, как много значит для нее это согласие, и опасаясь обидеть, даже оскорбить ее своим вопросом. Я только воскликнул, назвав ее тем *давним* именем:

— Машура!

Но она не услышала в этом имени ничего для себя важного — оно ей ни о чем не напомнило.

— Я согласна стать вашей женой, — сказала Маша и только теперь улыбнулась своим мыслям.

Мне стало не по себе. Я попробовал свести все к шутке, рассмеялся, предложил еще немного выпить, произнес какой-то выпоренный, витиеватый, невразумительный тост. Но Маша его не услышала и подняла рюмку так, словно я предложил выпить совсем за другое:

— Да, за наше семейное счастье.

И мне вдруг стало ясно, что это уже не Маша, что все забыто, в том числе и наши прекрасные разговоры, что о литературе с ней больше не поговоришь и что если я сейчас попрошу «Голубую звезду», Маша принесет из подсобки стремянку и полезет за ней на небо.

— Вот такая история. Вернее, даже так: история Маши на этом заканчивается, но остается хвостик другой истории, которую я с вашего позволения доскажу.

— Сделайте одолжение, — сказал я как можно более учтиво, как бы с неким реверансом, но не удержался и добавил: — Хотя и без того ясно, что утонченная и сверхделикатная Маша Зверева и есть та крутенехонькая хозяйка, которой вы так боитесь.

— Не совсем, не совсем. Одолжение-то я вам сделаю, не сомневайтесь. Только уж давайте допьем — не оставлять же. И посидим немного над обрывом, только молча, без ненужных разговоров. Подумаем. Помечтаем. — Мы немного посидели молча, каждый думал о своем (на дне обрыва блуждали болотные огоньки и под луной поблескивала тиной вода), и он продолжил свой рассказ.

Весной освободился из тюрьмы Федька Кант. Огляделся, приценился, поразнюхал, что к чему, и постепенно стал все *кантовать*, как у нас говорили, — прибирать к рукам. Начались наезды, разборки со стрельбой, передел собственности. Федька со своей мастью взял верх, завладел банком (сорвал банчишку), рестораны перешли к нему. Стал он местным авторитетом, магнатом и воротилой, и решил я ему *вмастить*— кое-что напомнить из прошлого. Напросился на встречу, хотя он не сразу соизволил меня принять, долго тянул, откладывал, гнушался, брезгал мною. Наверное, думал, что я буду деньги просить. Наконец принял меня в своем особняке, среди мрамора, позолоты, дубовых панелей, а расписной потолок, я заметил, точь-в-точь как в моей библиотеке.

Это меня воодушевило, вселило надежду. Заговорил с ним о книгах и стал осторожно клонить к тому, как когда-то ему носили книги из нашей библиотеки.

— Маша Зверева! — воскликнул он, и на его широком, бугристом лице с татарскими скулами просияла улыбка. — Как она? Жизнью довольна? Денежки есть? Счастлива?

— Вряд ли я тебя порадую. Живет в нищете. Бедствует. С горя чуть было не вышла замуж.

— Это за кого же? — Федьке не понравилось мое сообщение.

— За меня.

Тут он и вовсе помрачнел, стал смотреть на меня исподлобья, волком.

— Ты передумал или она? — спросил, сплюнув сквозь зубы.

— Она, конечно. — Я не оставил повода усомниться, что передумал не я.

— Почему ж это?

— Передумала-то? Сказала, что будет милого ждать.

— Это какого же милого?

— А тебя.

Приврал я, конечно, сам не знаю почему и зачем. Но получилось так, что очень даже к месту приврал. Федьку вдруг осенила — прошибла — шальная мечта: ввести в свой особняк хозяйку, и не кого-нибудь, а именно Машу Звереву. Мне он ничего об этом не сказал, но, когда мы распрощались, поднял на ноги охрану, стал разузнавать, где ее найти. Ему

доложили, что и искать не надо, поскольку она работает официанткой в его ресторане. Федька мигом туда позвонил, чтобы вызвать ее, но тотчас передумал и сам к ней отправился.

Снова была осень, по оврагам лежал туман, белела изморозь, моросило, и Федьке хватило ума вместо банальных роз подарить ей букет пожелтевших, подернутых по краям багрянцем кленовых листьев, среди которых он искусно припрятал коробочку. С бриллиантом. Кленовые листья Машу тронули; она оценила. Случайно заметила коробочку. Открыла, достала, ахнула, ужаснулась, не поверила и — взяла. Даже застенчиво, с легкой краской стыда поблагодарила (его это тоже тронуло).

Тогда Федька и вовсе впал в безумство. Решил ослепить Машу роскошью, одеть в шелка, закутать плечи голубым песком и на ней жениться. И так же, как когда-то Маша согласилась стать официанткой, теперь она не отвергла предложения Федьки. Лишь заручилась правом дать окончательный ответ немного погодя, через месяц-два-три.

Три месяца показались Федьке слишком долгим сроком, на два же он согласился. Согласился, поскольку ни в чем уже не сомневался. Меня (жалкую мошку) как соперника он всерьез не принимал и о нашем разговоре забыл.

Между тем Маша ко всему его хозяйству внимательно присмотрелась, во все вникла, все взяла в свои руки и обнаружила звериную (под статью фамилии) хватку — удивительные способности вести дела, особенно по части Федькиных ресторанов. В каждом из них она навела порядок: перекрасила аляповато выкрашенные стены, сменила шеф-повара, ввела новое меню, пригласила молодых музыкантов-лабухов, игравших по вечерам. И в пустовавшие некогда рестораны стали ломиться посетители, и не приезжие дядьки, как раньше, а изысканная публика со средствами и утонченными запросами. Любая копейка теперь приносила у нее прибыль, рубль же — так и сверхприбыль. Для Федьки она стала незаменима, и он уже не знал, дороже она ему как жена или как верный помощник, кореш и деловой партнер.

Наконец наступил срок дать окончательный ответ. Накануне Маша позвала меня к себе в «Обрыв» (менять название она не разрешила) и — как прежде — налила стаканчик. Как прежде мы вместе выпили, без речей и тостов. Вернее, вместо тоста Маша, опустив слегка близорукие глаза, сказала:

— Я перед вами виновата. Забыла, что «Семейное счастье» — повесть Толстого. Хочу искупить вину и исправить свою ошибку.

— Как же вы ее исправите?

— А вот так... — Маша забросила руки мне на шею и поцеловала меня так, что у меня закружилась голова.

Мы поженились — сначала тайно от всех, а затем нашли способ сообщить обо всем каждому, кого это хотя бы немного касалось. В том числе и Федьке. Он принял услышанное спокойно, хотя скулы у него едва заметно дрогнули. Получалось так, что его шальная мечта не сбылась, но Маша оставалась при нем — если не как жена, то как деловой партнер. И

Федьку это не вполне, но устраивало, поскольку он получил гарантию успеха всех его ресторанных начинаний. Ну, а я... я таким странным, причудливым образом обрел свое семейное счастье...

— А стать официантом вы все-таки согласились? — спросил я, поглядывая на полуовал горящего в ночи окна.

— Согласился, как видите. И согласился бы стать кем угодно, лишь бы почаще видеть Машу. Она ведь так занята, что почти не бывает дома. Здесь же, в ресторане, нет-нет да и мелькнет передо мной, даже бывает незаметно для всех обнимет и приласкает своего старичка. — Он посмотрел на меня с улыбкой, а затем тоже перевел взгляд на свое единственное, заветное, негасимое окно.